

Красиков В.И.

ТРАГИФАРС ИЛИ ОСЕНЬ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

*Стыдно и смешно, впрочем все равно...
шлягер Аллы Пугачевой*

Все самое серьезное, предельно серьезное и незаурядное превращается при своем постоянном возобновлении одним и тем же экзистенциальным субъектом в заурядное и фарс. Незаурядность нужна для "встряхивания" заурядности и само должно быть лимитировано в повседневности. Постоянное присутствие великого и незаурядного – как масштабируемого знания в примерке к своим поступкам – в жизненной практике определенных людей оказывается для них, в конце-концов, весьма и весьма обременительным и разрушающим. Разрушаются как качества незаурядности, которое прозаируется в заурядное, так и заурядности самой по себе, утрачивающей свою невинность отдохновения и пристанища после героических свершений. Это как актеры, играющие в сотый раз "Гамлета", у которых все возможные представимые вариации и аранжировки незаурядных, и, заметьте эксклюзивных, чувств и мыслей, поворотов сюжета – уже давно позади. Автоматизация и технизация – максимальны. Привычно воспламеняются чувства, проникновенность, задумчивость и загадочность – все на месте: все новые и новые зрители предсказуемо заморожены, впечатлены и потрясены. Для них это встреча с незаурядным. А для актеров?

Лицедейство, трагифарс или незаурядное, ставшее заурядным. Такова судьба, определяемая профессиональными особенностями нахождения в приграничье заурядного и незаурядного, многих людей творческих и около творческих профессий, да и всей пишущей (рисующей, читающей и думающей) братии. Любой тот, кто смог бы себе внятно сформулировать свои идеалы и ценности, цели и смыслы своего жития-бытия и, главное, смог приложить известные усилия в течении продолжительного времени к реализации "своего незаурядного", с тайным ожиданием, страстью нетерпения, кто придирчиво сличал результаты и свои смелые ожидания, надежды, оказывается к излету своего среднего возраста в специфической экзистенциальной ситуации "трагифарса", которая объективна (антрополигична, по жизненному расписанию) и типична, однако каждый раз переживается как несправедливо субъективное и беспрецедентное. Задача этой работы и заключается в попытке концептуализации подобной ситуации: определении ее причин, основной палитры ее переживаний, типичных форм реагирования и попыток "нормализации".

Думаю ситуация трагифарса обща большинству людей определенного возраста, способных хотя бы отчасти к самокритичным настроениям, самоанализу, обладающих хотя бы относительной психологической и ментальной самостоятельностью от индоктринаций и зомбирований со стороны масс-медиа и общественных предрассудков. Однако степень осознанности, самоотчетности переживаний экзистенциальной ситуации трагифарса у большинства по-видимому все же невелика. Подобные переживания списываются исключительно на "психологию" (популярные теории исключительных возрастных кризисов в связи с износом организма). Смысловая подоплека недооценивается и остается у большинства в латентном состоянии. На первый план выходят физиологические и социологические объяснения. Все это имеет место быть, однако здесь я хочу позиционировать специфику, подчеркнуть важность смыслового кризиса в рассмотрении трагифарса осени среднего возраста.

Он особенно явственен, выходя даже на передний план, в жизненном опыте личностей, претендующих на незаурядность, стремящихся к сознательному акцентированию своей отличности. Потому и мы будем стремиться к представлению именно этого экзистенциального варианта жизненного опыта тех людей, для которых в их жизни более важен смысл.

Что же считать "осенью среднего возраста"? Если сам средний возраст принять условно за 35-55 лет (где в качестве общепризнанного рубежа его начала выступает возраст Будды и Иисуса), то его осенью будет собственно второе десятилетие (45-55).

Причины наступления специфической экзистенциальной фазы – трагифарса со всей сопутствующей ему гаммой чувств и настроений – две. Они взаимосвязаны и взаимообуславливаемы, определяя наступление жизненного утомления. Это причины: начало существенного, субъективно замечаемого снижения витальности и девальвация жизнеобразующих смыслов.

Снижение витальности, потом, чуть позже, ее стремительный регресс – объективно-биологические явления. Оптимальный, эволюционно-целесообразный, репродуктивный возраст уже позади и все параметры жизненности устремляются вниз по шкале интенсивности. Падают показатели быстроты восстанавливаемости, эффективности защитных сил организма и на фоне этого начинают возникать проблемные ситуации со здоровьем в слабых, генетически обусловленных, "узлах" организма. Все жестоко, но понятно: значимость "отработанного материала" неуклонно снижается. Непонятна скорее может быть девальвация жизненных смыслов.

Конечно, трудно отрицать наличие невидимых, невыясненных влияний жизненности, витальных сил. Жизненный подъем, воодушевление (как прилив сил), энтузиазм могут подпитывать судьбоносными соками, сообщать решительно-утверждающий формат

даже самым малозначительным смыслам и полусерьезным целям. И, наоборот, физическое ослабление, хроническая депрессия "обескровливают" даже безупречно великие смыслы и высокие цели.

Эти экстремумы обычно кратковременны и у большинства людей подавляющая часть времени характеризуема средними показателями витальности. Последняя, конечно, снижается в возрастном, однако ее снижение достаточно плавно растянуто во времени. Так же, как и достаточно плавно идет снижение среднесуточной температуры с переходом от летнего зноя к холодной поздней осени. Так почему же более заметна смысловая девальвация, ведь сознание, в силу своей относительной самостоятельности, напротив лишь начинает достигать своего развитого состояния? Мы становимся способными быстрее, эффективнее, глубже ставить и решать интеллектуальные задачи, наша мыслительная продуктивность существенно возрастает. Так почему же вдруг неожиданно начинаются "пробуксовки" в виде состояний разочарования, бесцельности и дезориентации?

Ладно бы речь шла о людях, у которых-то никогда и не было смысловых диспозиций и целевых позиционирований – так нет, трагифарсовые ощущения начинают все чаще навещать людей, которые казалось бы уже ранее, в возрасте Гаутамы и Иисуса совершали акты личностного смыслополагания. Что происходило и происходит с этими людьми, которые по крайней мере старались "быть", пытались выдюжить свою заявку на неординарность?

Думаю, случается нечто архетипическое в виде неизбежного превращения незаурядного в заурядное, что зависит скорее не от масштаба личности либо эксклюзивности ситуаций, а от самой экзистенциальной природы переживаний человеком этих состояний, равно как от темпоральной динамики. Подобное архетипическое присуще как лицедеям, так и творцам, как актерам, играющим пьесы Шекспира, так и самому их автору.

Связь незаурядности, исключительности с высокими степенями важности и значительности не случайна, скорее всего она проистекает из глубинных конститутивных связей не только человеческой основы, но и земной жизни как таковой.

Конституция живого есть соединение отдельного (конкретной особи) и общего, Целого (вида, к которому относима данная живая особь, генетическая программа). Заурядность или общность, похожесть на себе подобных – имманентная, т. е. неустранимая, нормальная характеристика любого отдельного живого, в том числе и человека. Более того, это условие принятия и защиты Целым отдельного.

Отдельное включает в себя, самодостаточно и полно, решающий объем генетической информации,¹ являясь в этом смысле "микрокосмом". Философия Лейбница и персонализм концептуализировали это обстоятельство в своих характерных онтологиях "монады" и "персоны" – отдельной множественной, но самодостаточной микрокосмической единицы мироздания.

Стремление к незаурядности, исключительности – вовсе не только ментальная черта сознания западных обществ, хотя, возможно, здесь она в большей степени навязана массам, чем на коллективистском Востоке.²

Отличаться в чем-то от других – значит быть в чем-то более значительным и ценным, чем повторяющееся и заменимое. Такая довольно простая логика лежит в основании оценивания заурядного и незаурядного. Эволюция чувств незаурядности скорее всего вела от осознания своей отличности как пользы для других к комплексу самодостаточности неповторимости ("монады"). Стремление к незаурядности, таким образом, вполне неизбежно и естественно, как и само существование "нормы", "заурядного". Вопрос часто заключается лишь в том, что:

➤ незаурядность оказывается всегда в конечном счете самообманом;

➤ незаурядное по своему смыслу лимитировано заурядным и неизбежно само превращается в него, незаурядное в своем чистом виде – либо временное состояние, либо социальный миф.

Тем не менее, это тот миф, который поддерживает наше смыслообразование, составляя его смысловой его-стержень.

Итак, посмотрим на приключения незаурядного в истории личностного развития.

Незаурядность, похоже, имеет объективное и субъективное измерения. Объективное измерение – оценка других, когда незаурядным по каким-либо параметрам называют человека, который может делать то, чего не могут другие или же не могут в такой же степени хорошо. Сама объективная шкала незаурядности растянута в количественном и качественном отношении. От высокой степени мастерства, обретаемого старанием, временем, трудом до харизматических, т. е. принципиально не приобретаемых (в такой степени интенсивности) качеств. Причем речь идет не только о традиционно престижных и романтизованных качествах художника ли, писателя ли, актера ли, ученого ли, военного или же политика, но и о вполне незаурядных поварах, учителях, врачах, строителях и т.п.

¹ Генетической – значит "онтологической": как возникли условия появления данного Целого (вида) и что есть само это Целое.

² Количество мессий, пророков, просто героев (Гильгамеш, Чингиз-хан), стремящихся к исключительности здесь также довольно, просто здесь традиционно проводится более трудно переходимая черта между заурядностью и незаурядностью.

Вердикт здесь выносят окружающие люди и обязательно по прошествии довольно длительного времени, причем оценки разных родов занятий часто незаслуженно не равноправны.

Субъективное измерение незаурядности, для личности может быть и более важное, – это самооценка, чувство собственного достоинства, связанные теснейшим образом с самопроектированием, полаганием "целей и смыслов жизни". В известной степени самоуверенность и ощущение собственной значительности – врожденные черты характера. Имеются в виду ярко выраженные и устойчивые формы этих черт: нарциссизм, большое природное самомнение, которые невозможно поколебать никакими внешними влияниями. Такие люди – патентованные счастливицы, им не надо прилагать значительных сил, прежде всего внутренних усилий, для доказательств себе и окружающим своей незаурядности. Они прямо источают уверенность и несокрушимую значительность. Пусть это и в большинстве случаев "мыльные пузыри" и им в конце-концов достается достаточно насмешек и презрительной снисходительности. Что с того? Они и это переживают, переинтерпретируют легко как "зависть" или как "не к ним относящееся", и далее будут спокойно и уверенно почивать на лаврах чувств своей незаурядности, данных им по генетическому случаю.

Большинство же людей должны бороться за свою незаурядность, доказывая себе и другим свою значительность. Все дело в том, что незаурядность как характеристика, присуждаемая и подтверждаемая другими, есть явление довольно-таки зыбкое и относительное.

Относительность заключается в большом количестве уславливающих (критериев), исторических, культурных и социальных, – того, что в ту или иную эпоху, в том или ином обществе, называемо "незаурядным". Незаурядное – это то, что постоянно должно подтверждаться через постоянное придирчивое сличение образа и оригинала. Обретается подобная характеристика с большим трудом, еще труднее удерживается (подтверждается), а вот теряется легко и сразу, причем безвозвратно. В том-то зыбкость незаурядного.

Проблема состоит в том, что внутреннее чувство незаурядности большинством людей, за исключением природных нарциссов, должно быть обретено, завоевано, заявлено для себя – до возможного момента внешнего социального "санкционирования незаурядностью". С самого начала собственная кампания по подъему самооценки и убеждения себя в своей исключительности, значительности не может не начинаться с дерзости, с полагания себя незаурядным лишь по чувству, природному наитию "монады": я должен быть уникальным. Начинается, таким образом, все с самообмана, возвышающего и вдохновляющего. Человек судит о себе по тому, что он чувствует в себе какие-то способности, силы, однако требуются напряженные,

упорно возобновляемые попытки их продуктивной реализации – дабы утвердить их "онтологический статус", т. е. актуализировать незаурядность. Собственно многие люди обладают чувством своей незаурядности,³ но ведь и у многих это оказывается самообманом бахвальства, натужностью и пшиком.

Таким образом, полагание незаурядности в качестве исходного самонастраивания на поход за социальной значительностью не может не быть самообманом, т. е. тем, что может подтвердиться, а может и нет. Даже в положительном случае подтверждения незаурядности, она в конце-концов ускользает уже в настоящий, серьезный самообман. Связано это уже с зыбкостью, относительностью субъективного переживания незаурядности.

Также проблемен и процесс внутреннего самоуверения. Здесь:

- понятие и денотат находимы тут же, внутри, в самой душевной жизни и их сличение возможно в конкретности придиричивого сопоставления;
- гораздо выше субъективная заинтересованность в установлении действительного соответствия.

В большинстве случаев себя трудно обмануть. В меньшем количестве случаев мы, правда, способны и на успешный самообман, создавая режим самоублажающего гипноза, но и здесь всегда остается фон пугливого сомнения. Большинство людей все же тем и отличаются от братьев наших меньших, что обладают рефлексивными способностями критического отстраненного отношения к себе и к результатам своей деятельности. Это означает, что человек, который уверяет себя в своей неординарности, должен сам себя как-то сертифицировать своими же действиями, какой-то активностью, которая подтвердит твою недюжинность хотя бы себе же, не другим.

И себе – в первую очередь, т.к. есть известное количество людей самодостаточных, способных в целом обходиться и без социальных санкционирований. Тем в большей степени они зависимы от умения быть убедительным в доказывании себе своей основательности. Общее правило убедительности здесь очевидно: наличествует – если работает, актуально функционирует, осуществляется, действует, "живет".⁴

³ И это достаточно представлено и в литературе, вспомним лермонтовского Печорина, который ощущал в себе силы необыкновенные, погубленные "светом". Английская пословица также отмечает: "We judge ourselves by what we feel capable of doing, while others judge us by what we have already done". Это означает: "Мы судим себя по прикидкам своих потенциальных возможностей, тогда как другие оценивают нас по тому, что мы уже сделали реально".

⁴ Совсем не обязательна внешняя продуктивность неординарного человека: холсты, книги, песни, изделия и пр. Многих вполне устраивает и подтверждает внутренняя интенсивность продуктивного воображения, остающаяся втуне: эстетическое, интеллектуальное наслаждение от переживания чужой неординарности (книги, пьесы) и сознание этой своей неординарной способности к рецепции чужого неординарного. Они - интеллектуальная публика, они ценители и судьи. Многие не способны и не хотят брать на себя недюжинный труд овнешнения своего содержания и довольствуются либо режимом внутренней жизни

Неординарный человек, таким образом, для того, чтобы постоянно удостовериться в своей неординарности, должен время от времени, регулярно ее как-то актуализировать – заниматься тем делом, в котором он для себя сделал заявку на необычность. Это всегда занятия, требующие больших расходов энергии и времени, концентрации усилий, напряжения, даже если они же приносят также и сопутствующие интеллектуальные наслаждения. Это работа, не просто "игра сил". Что-то ты можешь делать лучше других, но это прежде всего труд и невозможно постоянно находиться в подобном состоянии. Вскорости и этот труд рутинизируется, и на него уже надо "настраиваться" и в известной степени заставлять себя: ведь все же безделье глубоко врезано в нас природой ("экономии усилий").

Незаурядность, таким образом, существует либо в начальном, "революционно-романтическом" периоде – периоде ее полагания как проекта существования, либо уже в "нормализованном" (рутинизованном) состоянии "образа жизни", "дела". Лишь регулярность подтверждения делами своих притязаний надежно убеждает сознание в правильности собственных оценок, внося желанную смысловую удовлетворенность собственным житьем-бытьем.

При этом однако возникают проблемы: существуют необходимые "пробелы" – перерывы в делании и они объективно в дальнейшем удлиняются, порождая подтачивающую пустоту.

Действительно, запас творческих сил сильно напоминает "шагреновую кожу" О. Бальзака: чем больше удовлетворенных желаний, которые удовлетворяются за счет расходования наших же жизненных сил, тем меньше остается этих самых сил. Безусловно, сами состояния продуцирования – лучшее подтверждение неординарности, потому и высокоценны сами по себе. Известное "ни дня без строчки" демонстрирует рационализацию подобного обстоятельства: в идеале было бы превратить все свое бодрствование в свою подлинность – "творю, следовательно существую". Перерывы, однако, все равно неизбежны в силу парцеллярного характера произведения как такового: нельзя творить просто отдельные несвязные фрагменты – все равно они объединяемы в некие совокупности, серии, цельные вещи. "Произведение" – это и "единица" творческого процесса, и его организующая, целевая структура, и, в то же время, смыслообразующая экзистенциальная структура, источник позитивных жизненных ощущений.

Потому даже режим "ни дня без строчки" не решает проблемы "пробелов"-перерывов: строчи хоть весь день напропалую, но если

нет идеи "произведения" это быстро превратится в малополезную, потом смешную натужность. Далее. Хороших идей может быть в достатке, однако следует определиться с той, которая сможет инициировать не просто творческий, но именно экзистенциальный энтузиазм, когда мысль о проекте вызывает то же волнение, что и при виде или воспоминании о возлюбленной. Лишь подобное почти интимное отношение со своим делом дает искомую радость творческого, сиречь жизненного, подъема и, одновременно, рациональную и иррациональную верификацию своей неординарности.

Самая же большая проблема здесь в том, что подобная радость творческой любви возможна лишь вплоть до окончания произведения или, другими словами, высокая значимость, чрезвычайность значительности сохраняются до момента воплощения, реализации замысла. Как только, даже еще не завершено по техническим деталям, но по сути своей сделано произведение, как бы мало или велико оно ни было, как тут же сделанное теряет любовь своего создателя и уже малоинтересно ему в экзистенциальном отношении. Его могут еще волновать возможные прагматические последствия выгод продаж своего произведения, однако ко своей прежней, уже зрелой, любовнице он уже необратимо холоден.

До появления новой любви, которая чем дальше, тем труднее обретаема. Неординарный человек превращается в заурядного обывателя, который, в отличие от "серийного", сознает и мучается этой, вновь обрушившейся на него заурядностью. Она, родимая, оказывается всегда тут, рядом, терпеливо ждет своего часа, и, в конце-концов, своего неизбежного триумфа. Ускользнуть от заурядности становится все труднее и труднее, бывшие любовницы-произведения живут своей моей жизнью и растраченное уже никогда не вернешь. Все реже удается раздуть тлеющие угольки внутреннего очага, больше времени требуется теперь для доведения его до привычного буйства огня и жара. Незаурядность всегда ограничиваема, подпираема заурядностью.

Всякая незаурядность имеет, таким образом, свой лимит. Это всегда временное отклонение от нормы, питаемое страстью. С охлаждением страсти новообразование на заурядности иссыхает и остается неуничтожимое и корневое, самое основа: заурядность.

Кроме аргумента "от персонального роста",⁵ возможно рассмотрение и аргумента "социального". Неординарное также само

⁵ Видовая отдельность (отдельный представитель живого множества) есть заурядность, иначе онтологически невозможен вид. Возможности сверхразвития, неординарности или собственно "персоны" реально существуют в их постоянной актуализации, задействовании, которые, в свою очередь, зависимы от фатальной заданности жизненного расписания витальности (органический цикл: рождение – цветение – увядание). Неординарность потому эфемерна и относительна, так же как кратковременен период цветения в органическом расписании отдельного живого.

трансформируется в ординарное, по логике своего социального развития.

Речь идет о привыкании и рутинизации – верных спутниках всего, ставшего устойчивым. Лишь первое, довольно краткое время появления нового, неординарного, последнее воспринимается людьми с интенсивной радостью (страстями или завистью). Потом следует быстрое привыкание и неординарное становится "заурядным неординарным", привычной отличительностью.

Оно масштабируется окружением, т. е. "обмеривается" и "укладывается" в некие рамки "авторского стиля, манеры, почерка, тематизации" и пр. Окружающие стремятся как можно скорее нивелировать только что появившееся, "растопыренное и непричесанное", новое неординарное и неизменным успехом это им удается. Хабитуализация или опривычивание – социальный механизм подгонки под среднее: как через ввод нового в некие пределы, лимитирование от заурядного, так и через мимикрию заурядного под наиболее интересные образцы незаурядного. Как только что-то имеет успех, так тотчас же появляются десятки, если не сотни подражаний. Незаурядное тиражируется: и вроде бы все тоже самое, а пошло и смешно.

Охлаждающий душ опривычивания сбивает жар спеси ли, оригинальности ли – как посмотреть – с новичка, радостно и непосредственно предъявившего окружающим свою, чем-то замечательную отличность. Но по-настоящему удивить удастся всегда только один раз – первый раз, потом наступают суровые будни. Охлаждение заурядностью, когда "взвешенное" неординарное становится еще одной, уже изученной и понятой диковинкой – закономерное и серьезное испытание для вставшего на этот путь. Говорят: "а ничего особенного здесь нет, все понятно – это состоит из того-то и того-то, такое уже было тогда-то и тогда-то, это не что иное, как вариант, версия, подражание такого-то и такого-то".

Интоксикация назойливо навязываемым знакомым и установленным может серьезно подорвать радостную самоуверенность, наивный пыл творчества. Окружающие, вольно или невольно, осознанно либо нет, хотят остановить раздражающую и укоряющую их активность бывшего спокойного соседа по заурядности. Он вдруг "нагло" предъявил свою отличительность да еще с амбициозной заявкой на неординарность, а то и, не приведи Господи, на "величие". Соответственно, разнообразные попытки нормализации незаурядности – естественная реакция заурядного с естественным же, врожденным ощущением своей тайной незаурядности (которая еще не реализована, но когда-то, вскорости, обязательно объявится),

которому предъявляют прямое, в лоб, обвинение в ущербности. Ведь заурядность в нашей культуре ущербна.⁶

Потому посеять сомнения в душе "высочки", поставить его на место – значит спасти свое спокойствие и состояние негласной конвенции об имманентной скрытой неординарности каждого, всех нас. Неофита, дерзновенно посягнувшего на конвенцию, начинают обуревать сомнения: "действительно – чего дергаться, вон сколько уже сотворено признанными мастерами, я попытался, да видно силенок не хватает". Если он позволит им овладеть собой – он уже списан и нормализован, ибо достичь искомого состояния способности творить относительно просто – в силу первоначального романтического неведения сложностей процесса и предстоящей "социальной предосудительности," но самое трудное – удержаться в этом состоянии относительно долго.

Неофит просто должен усвоить две простые мысли:

- обретенное экзистенциальное качество самоценно и должно быть культивируемо, дистанцировано от оценок окружения;
- последний вердикт выносят лишь последующие, не актуально живущие поколения, и он должен смириться с идеей о принципиальной неизвестности этого вердикта (что в принципе здорово: вдруг он отрицателен?); однако тепла от надежды на его положительность вполне достаточно для обеспечения энергозатрат на дальнейшее функционирование в режиме незаурядности.

Другая проблема – рутинизация. Она вырастает внутри самого процесса. Рутинизация, как известно, тотальная проблема на путях жизненного удовлетворения как такового. Как водоросли Саррагасова моря, рутина заковывает изнутри экзистенциальные пространства профессии, дружбы, любви, восприятий прекрасного и пр. усталостью, скукой, раздражением и апатией. Бригада помощников рутины: повтор (стереотипизация), привычка (внутренняя инерция) и идиосинкразия к новизне. То же самое поджидает и незаурядное.

Своеобразие неординарного становится явственным, освоенным и легко впоследствии узнаваемым уже в первых произведениях. Оно, необычное, имеет, конечно же, свою фундаментальную структуру – как, к примеру, отпечатки пальцев или рисунок сетчатки глаза. Естественно, что подобная фундаментальная структура нового, неординарного остается впоследствии и в последующем, с некоторыми вариациями. Вместе с тем, как уже было отмечено, неординарное, чтобы остаться таковым, не должно "коснеть", ибо лишь в действии отличия оно и способно сохранить свое качество. Однако невозможно постоянное отличие, возникающие фундаментальные структуры "стиля", "манеры" становятся быстро

⁶ Помните как завелся гончаровский Обломов от казалось бы невинного на первый взгляд замечания своего лакея о том, что он "как все".

второй натурой творца. Это приводит к неизбежному "падению качества в количество," что проявляется в самоповторах. Борьба с рутинизацией – самое незаурядное в незаурядном. Это повсеместное затруднение творчества в виде явлений самокопирования, судорожных попыток вырваться за свои, собой же положенные пределы. Как говорил Г. Зиммель, в том и фундаментальная проблема соотношения "жизни" и "культуры" как таковых: витально-творческий выплеск жизненности должен быть заключен в рамки историчности, временности и пространственности, т. е. бесконечное должно стать конечным, культурным, "оконцеваться". Однако, затем эти положенные пределы объективно становятся оковами для дальнейших жизненных проявлений. Но если зиммелевская "жизнь" имеет безлимитное время для борьбы с "культурой", то вот жизненность отдельного человека и лимитирована, и опустошаема предшествующими выбросами витальности в творчестве культурных форм – в итоге "культура" во многих случаях празднует победу.

Причем если мы спустимся уровнем ниже по шкале отличности (неординарности), то окажемся на уровне, на котором находится большинство смертных.⁷ Они также неординарны, каждый в известном смысле или отношении, однако эта отличность ими не выявлена отчетливо для себя, они ее не знают, она, как выражаются философы "не концептуализирована". Это и заставляет их быть зачастую несправедливыми и обиженными.

Почему? Не хватает времени, трудолюбия, воспитания (направленности, культивирования ценностей самоотличения), не складываются благоприятные обстоятельства и мн. др. Однако человеческий удел – быть неординарным, быть монадой, другое дело, что это удастся разным людям по-разному, отлично, и, опять-таки своеобразно, т. е. незаурядно. Потому трагифарс осени среднего возраста – общее экзистенциальное явление, более остро и в душевно более открытой форме переживаемое более амбициозными индивидами.

Как бы мы себя не хранили и не следили за собой, к 50 годам мы начинаем выглядеть подистаскавшимися и испытанными (с "выбранной", "испитой" жизненностью) – силы необратимо тают, а рекреация падает в разы. Отсутствие у большинства "спящих монад",⁸ или же лишь потенциальных неординарностей, особых жизненных промежутков творчества – периодов эмоциональных подъемов и стабильной самоуверенности, встреч со своей новизной – приводят к тому, что процессы опривычивания у них идут быстрее. Впрочем, есть

⁷ Мы оставляем без внимания еще более низкий уровень отличности, на котором неординарность имеет лишь физические либо психологические проявления, в душевном же отношении – это не дифференцируемые образования, образующие сплошную завесу заурядности.

⁸ Термин Лейбница, который он использовал, характеризуя неживое, лишь кажущееся таковым, на самом деле – потенциальное, спящее активное.

искусственные социальные заменители, тормозящие стаивание новизны в существовании: перебор половых партнеров, игры (искусственный экстрим в широком смысле), психотропные средства. Так или иначе, мы можем сейчас выписать общую экзистенциальную формулу причин трагифарса осени среднего возраста. Думаю, здесь как нельзя уместны слова, начертанные на пиру Валтасара, царя Халдейского: "Мене, Мене, Текел, Упарсин" и расшифрованное пророком Даниилом (Дан. 5.25-28). В адаптированном приложении к нашему случаю это будет выглядеть так: исчислен (оценен), взвешен и найден очень легким и низринут (в значительности).

Примечательно, что субъектом исчисления, взвешивания, определения и низвержения выступает сам же испытуемый. Вся прелесть ситуации в том, что никто человека не заставляет, никакие обстоятельства не понуждают к подобным актам мазохизма. Созревшая рациональность (или житейская мудрость), развившаяся из нее рефлексивность объективно (как личинка превращается в бабочку) подталкивает человека "бальзаковского возраста" к никому не нужному сравнению себя со всеми другими, всем происходящим в целокупности, определению своего места во всем этом. Он знакомится, начинает видеть созвездия неординарностей в разных сферах жизнедеятельности, в том числе и в своей. История открывает ему необъятность света бывших "новых" и "сверхновых", а шестимиллиардная общность людей также испускает ярчайший свет значительности в виде миллионов произведений в сферах искусств, наук, религий, философий, поделок, хобби и отдельных видов мастерства. Каждое из них – вспышка неординарности, на фоне фейерверка которых собственное свечение превращается в прерывистое чадающее мерцание.

Многомиллиардная масса просто раздавливает значительность монады, которая должна быть по своему бытийному исполнению единственной. И никакие штирнеровские заклинания, как и бердяевские поползновения на включенность всего мира в персону – не спасут ситуацию, само их появление – противостояние отчаявшихся, как и Камю (бунтую, значит существую).

В данном случае ситуация обесмысливается не сознанием предстоящего полного уничтожения, смерти – это Рубикон жизненного среднерубежья и тогда принимаемой заменой, компенсацией становится надежда на собственную неординарность, значительность, которые и есть "зацепка за вечность", вечность ментального существования в пространствах символических миров людской памяти: книжной и электронной. Теперь же наступает второй акт трагедии, но уже в виде фарса, второе обесмысливание – обесмысливание как обнаружение самообмана значительностью, который (самообман) был положен, торжественно и истово провозглашен в среднерубежье, периоде жесточайшего кризиса

среднего возраста как "свет в конце туннеля". Однако, как в том замечательном анекдоте, свет в конце туннеля оказывается светом приближающегося навстречу поезда. Это приближающийся обвал собственной значительности, обвал в заурядность.

Ты ничем не лучше других, ты – букашка в грандиозном муравейнике, завиток пены на гигантской волне человеческих поколений, идущей из прошлого в будущее. То, что ты чувствовал как "силы необыкновенные" (а la Печорин), как свою неординарность, оригинальность, самооценку – оказываются самообманом, амбицией, питаемой, до поры, до времени, напором жизненности, которой эгоистически нужно было дезориентировать критическое мышление, дать ему ложную надежду на собственную самоданность – с тем, чтобы заставить сознание обслуживать интересы вида (священное продолжение рода: зачатие и выпестывание детей). Причем самозачаровываются уже не пылкие юноши, а уже серьезные, почти зрелые люди – на рубеже начала среднего возраста. Настолько серьезные, что некоторые из них способны к переформатированию своей последующего жизненного расписания в развороте к обретению незаурядности и всего, что с ней связано в человеческом устройстве бытия.

И вот на весах накопившегося житейского опыта и рефлексии на одной чаше оказывается амбиция, представленная в каких-то авторских поделках, на другой – миллионы незаурядных поступков и произведений других: в истории и в актуальности. Причем та же рефлексия может вполне здраво разъяснить съжившемуся от страха бессмыслицы разуму, что на другой чаше весов должна быть также одна, так сказать "усредненная", "любая другая", монада или же неординарность, а не с ума сводящая, давящая масса. Однако же эти резоны может и понятны на уровне рациональности, но никак не утешают глубоко уязвленное корневое *чувство неординарности*. Невозможно перебороть исконную онтологическую страсть любой монады (человеческого сознания в его отдельности) к единственности и беспрецедентной значительности или человекобожескую интенцию. Сия же страсть иррациональна, непоколебима никакими доводами рассудка, ибо укоренена изначально,⁹ произвольно порождая каждый раз придирчивое сравнение, сопоставление.

И что мы имеем в итоге сличения и "взвешивания"? Вначале это настроения горечи, обиды от несправедливого наказания, желание

⁹ Она присутствует даже казалось бы в цитаделях религиозного самоуничтожения и смирения: все они согласны на то лишь при условии, что Бог отметит именно их, поднимет, спасет, положит на грудь Свою. Человек здесь Божий фаворит, избранник, возлюбленный и пр. Где еще можно найти настолько сублимированную страсть к неординарности под личиной смирения? История реальных монастырей, аскетов пестрит примерами жутчайшего, лишь слегка скрытого нарциссизма и реальной беспримерной гордыни все той же "монады". Это тот "первородный грех", который и составляет суть сюжета мировой истории. С ним нельзя бороться напрямую подавляя его и Бог посылает Сына, дабы попытаться перевести энергию стремления к самости как неординарности перевести в позитивное русло.

мести кому-то, затем становится стыдно и смешно. Позже приходит равнодушие. Эти-то настроения и порождают трагифарс осени среднего возраста – естественные экзистенциальные переживания, свойственные, в той или иной степени, любому "живому" сознанию¹⁰ этого периода человеческого существования.

Отчего же горечь и обида? От очередного, на сей раз наиболее фундаментального, разочарования – от утраты невинности чувства беспрецедентности. Преодоление кризиса "возраста Христа-Будды" как полагание проекта героического превозмогания или, в более прозаических формах, "призвания к профессии", означает утверждение своей значительности как самоценности незаурядного индивидуального существования, которое каким-то неведомым образом востребовано "самим сущим". И вот испытание сравнением необратимо девальвирует ценности смысла, основную валюту индивидуальной экономики удовлетворенности жизнью. Положенный ранее смысл, какой бы "высокий" либо "низкий" он ни был, оказывается заведомым, необходимым самообманом, заманкой жизни, витальности. Причем долгое время, до неприятного момента очной ставки себя со своим же самообманом, человек подсознательно сопротивляется неизбежному, живя в том, что можно назвать "режимом отчаянного самообмана". Ему легче забываться в лихорадочной суете, не умея и не смея посмотреть правде, т. е. себе новому, смертельно уязвленному, в глаза.

Погоня за все более значительным, все более большим оказалась абсурдной по исходной своей сути, обернувшись падением качества в количество. Если ты раз сделал что-то стоящее, то *качественно* лучше (т. е. именно как совершенно другое неординарное) ты уже не сделаешь – для того надо аннигилировать себя прежнего и стать совсем иным, что значит отказаться от себя, этой-вот самоценной и самородной идентификации. Ты будешь просто тиражировать уже заявленное, даже если оно по технологии отделки и продуманности строения и будет улучшаться. Более того, человек обречен на подобное дублирование и тиражирование (дай Бог, с аранжировками и вариациями), т.к. вне продуцирования, подтверждения, удержания своей отличности он вообще исчезает как душевная самобытность.

Сделать крутой поворот, попробовать иное уже невозможно – как в условиях уже лимита жизненного времени,¹¹ так и в свете нового обретенного экзистенциального знания: роковое, неперерешаемое обстоятельство устройства человеческого бытия, когда имманентная

¹⁰ То есть способному к самостоятельной душевной жизни, динамичному, чувствительному, не зомбированному масс-медиа или же своими националистическими-культурными предрассудками.

¹¹ Для основательного освоения новых занятий, а это есть неперемное условие достижения искомой незаурядности в них.

страсть к беспрецедентности всегда трагически подавляемо суммарной значительностью Целого.¹²

Известно однако, что природа, создавая определенное "отрицательное", определенные "негации", типа смерти или рефлексии, создает и средства их нейтрализации. Если для смерти это анальгетик в виде идеи бессмертия, то рефлексия умиротворяема иронией, одним из следствий самой рефлексии.

На самом деле, рефлексия привлекательна особенно для мужского ума, являясь высшим показателем его эффективности и эффектности и, соответственно, желанным качеством, искомой общественной характеристикой. Однако именно ее последовательное развитие ведет к необратимому "разволшебствованию" субъективного мира надежд и собственной значительности. Рефлексия и есть тотальное сравнение, масштабирование, выяснение причин и обоснованности – вплоть до табуированных сфер Бога, Любви и Собственной значительности. К чему это приводит, мы уже знаем – рефлексия разрушает себя, своего носителя. Вместе с тем, есть смягчающая сторона в действии этого ментального мега-оружия: выжигая иллюзии и мифы, страсти и надежды, она оставляет отстраненное любопытство и развивает, наверное по принципу компенсации, острое чувство комизма всего происходящего. Сама трагедия оказывается смешной, а за собственные героизованные либо гордо-фаталистические позы, жалость к себе, такому романтичному и уязвимому мировому скорбью, становится как-то неудобно перед самим же собой.

Возникает чувство deja vu, когда-то это много раз уже случалось, ведь человеческая монада, как ни была бы она незаурядна, имеет одну фундаментальную, архетипичную структуру переживания своего присутствия. Одно и то же много раз испытывали многие до меня, будучи уязвлены внешними обстоятельствами. Сами "ранимость" и "уязвляемость" архетипичны и многократно воспроизводимы. С небольшими вариациями ("кто" уязвляет: Бог, фатум, люди) байроническая личность с печатью несправедливого рока на челе – постоянный персонаж мировой авансцены,¹³ ее фигура тревожила в свое время наше юношеское воображение, а потому – непременно-логическая фаза уже нашей собственной экзистенциальной последовательности.

Вместе с тем, как бы человек не сознавал клишированность этих своих чувств и не подтрунивал временами над ними, для него они все

¹² Выход из этой коллизии всегда тоже трагичен и трансцендентен: в страсти чуда, нарушения естественности устройства сущего как всегда Целого. Это воплощается в полагании религиозного идеала трансцендирования индивидуальности в смысл сущего, в индивидуализации Бога – Иисус из Назарета и Гаутама Сидхарта.

¹³ Начиная с Екклесиаста, Иова, возлагавших всю вину на Автора мироздания, через горестно сокрушавшихся о вине завистливой толпы ("свет", сгубивший вереницу Байронов – Печориных – Онегиных - Арбениных) к судьбе Dasein, заброшенного неизвестно куда и неизвестно кем.

же – один из дорогих и культивируемых состояний. Во-первых, потому что все мы немного мазохисты и в нас всегда остается ребенок, которому хочется иногда пореветь, пожалеть себя, пожаловаться Большому и справедливому и с невыразимым наслаждением внимать успокоениям либо посмотреть, как наказывают обидчика. Ведь взрослый – это лишь социально нормализованный ребенок, играющий немного в другие игры, но все с теми же эгоцентрическими амбициями, которые он просто учится лучше прятать. Терапевтическое действие мазохистских переживаний очевидно: сладкая жалость к себе смывает позорные пятна собственной слабости, неумения, лени. Ведь я-то все же знаю, что все это частности, а в главном, по своей глубинной сути я очень хороший и очень уникальный.¹⁴

Во-вторых, есть какая-то несомненная корреляция между утончением душевной организации и интенсификацией мазохистских настроений. Умственное обогащение и развитие рефлексивности интровертирует психический мир, снижает самоуверенность и самооценку. Это объективная плата за большее нахождение в себе, постоянный критический самоанализ, размышления о многих, в практическом отношении бесполезных вещах, обессиливающее сопоставление и пр.¹⁵

Таким образом, закономерное падение в заурядность, жизненное отрезвление¹⁶ – всегда воспринимались болезненно-остро, хотя и с известной долей иронии. Но что же человек предпринимает далее? Каковы его возможные формы реагирования?

Конечно, эти формы не могут не различаться, учитывая саму нашу укорененную интенцию к уникализации. Вместе с тем, наша видовая общность делает проявление подобной интенции усредненным. Так возникает типизация. Среди множества авторитетных психологических классификаций, для наших целей более подходит юнгианская классификация экстравертированных и интровертированных типов психики. Ориентации на внешний, либо внутренний мир определяют полагаемый естественным образом контекст интерпретаций своей значительности, в, следовательно, и сами образы "себя значимого", равно как и последующую эволюцию этих образов. Так вот трагифарс осени среднего возраста образуем

¹⁴ Страдание очищает – мифологизирует это обстоятельство христианство – и возвышает. На самом же деле, это есть не что иное как концептуализация детской инфантильности и мазохизма.

¹⁵ Васисуалий Лоханкин в "Золотом теленке" справедливо рассматривается как злой, но в общем-то справедливый шарж на "интеллигентские рефлексии".

¹⁶ Даже глубочайшие, с гигантским рефлексивным потенциалом, умы приходят в конце-концов в вывод о горизонтности заурядного для незаурядного. Гуссерль, продолжатель неоплатонизма с его стремлением максимального отвлечения, бегства от повседневности, сосредоточении на внутреннем мире движения мыслительных форм, где царствуют общеобязательные вечные истины, к концу своего интеллектуального пути "отрезвляется", понимая, что все помыслимое создается все же в "жизненном мире". Побеждает в конце-концов здравая рассудочность, но та, которая оставляет, однако, почетное, ностальгическое место в себе и для "интеллектуального экстаза".

сочетанием фарсовых и трагических тонов в переживаниях своего существования, которые могут быть представлены в разной степени интенсивности у разных типов людей.

Так фарс доминирует в жизнеощущениях экстравертов, что определяемо особенностями фиксации их профильных интересов на внешнем мире. Соответственно его внутренний мир имеет весьма слабую автономию, он сращен, практически нацело совпадая с миром социальных значений, который принимается в целом и считается, с некоторыми поправками, чуть ли не "лучшим из возможных миров". Раз мир существует – значит жесткость существования, реализм взаимной притирки основных его ингредиентов "отбирают" тот вариант мира, который не может не существовать. Раз мир существует в наших повседневных восприятиях – значит он реален. Вообще экстраверты – люди большого доверия к повседневности и своим ощущениям. Это реалисты, материалисты, люди здравого смысла. Их образы, полагаемые модели собственной значительности имеют потому ярко выраженный социализированный характер. Им гораздо важнее, чтобы их значимость была принята и подтверждена окружающими или их референтной группой. Это важнее и первичнее всего. Их значительность для них сертифицируема их положением в каких-либо формальных либо неформальных социальных структурах либо даже и совсем символических структурах,¹⁷ но того же внешнего социального мира.

Сама их реалистичность сообщает им адаптивность, гибкость. Они вообще-то, по большому счету, соглашатели, готовы и на меньшее при отсутствии возможностей большего. Не берут в голову многое, отмахиваются от метафизических вопросов как практически ничемных либо дают их прозаические разрешения через их сознательное утрирование, профанацию. И это хорошо работает – для их душевного спокойствия, самочувствия. Потому они и дольше всех держатся, отводя глаза от неприятных созерцаний, пряча голову в песок. Однако подобное избегание неприятных разговоров с самим собой начинает постепенно играть с ними злые шутки.

Они достигают каких-то определенных позиций социальной значимости, которые, слегка раздутые собственным воображением, вполне адекватны амбициям их соглашательской натуры. Наряду с этим, соглашательство как гибкость в отношении возможных перипетий борьбы за социальное признание не означает подобную же гибкость в отношении понимания себя. Здесь табуированная для их рефлексии территория, что, собственно, и сообщает их натурам паразитическую самоуверенность и безмятежность. И сила, казалось бы явное достоинство, оборачиваются слабостью, недостатком. Они,

¹⁷ Идеальных, может даже вымышленных референтных групп, типа "настоящие мужчины", т.е. те которые до конца несут стяг донжуанства и крутизны, или же, напротив, что-то смутно-маниловское "настоящие, сердечные друзья" или же "духовная элита".

не наблюдая за собой, плохо зная себя с подноготной стороны, упускают из виду свою внутреннюю эволюцию, продолжая воспринимать себя качественно прежним. Отсюда ситуация: "седина в бороду, бес в ребро". Хотя это и явно маскулинное выражение в отношении ригидного мужского желания быть всегда таким, каковым был в молодости, оно хорошо иллюстрирует общую ригидность экстравертов в отношении понимания и принятия реалий своего внутреннего развития.

Ситуация фарса и возникает у экстравертированных людей, которые начинают вести себя не адекватно: их прежние притязания на значительность, которые ранее успешно реализовывались, входят в явное для окружающих, но не самих героев, противоречие с резко снизившимися возможностями по их реализации. Так и возникают ситуации седеньких старичков-бонвианов, молодящихся матрон либо дряхлых начальников, либо всем до смерти надоевших, больших и малых, "звезд". Они продолжают и продолжают играть свой бесконечный фарс. Вот только окружающие с трудом прячут улыбки в общении с ними, но только затем, чтобы за спиной притворно вздохнуть и радостно ухмыляться столь очевидной нелепице и поразительной слепоте вообщем-то неглупых людей. Вместе с тем, по раздумью и жалеют их: фарс-то оно фарс, однако есть и скрытый трагизм, который, рано или поздно, доходит даже и до сознания поглощенных карнавалом внешнего мира.

Напротив, явственно выраженные интроверты переживают осень своего средневековья очень серьезно – как трагедию. Структура их душевной организации, как известно, характеризуема развитой автономией их внутреннего мира и его приоритетом в оценках перед миром внешним. Это значит, что внешний мир воспринимается и оценивается при существенном влиянии внутренней перспективы. В отличие от "социального человека", каковым по сути является экстраверт, и для которого внешний мир – целое, органичной частью коего он есть, интроверт – это эгоцентрик, "внутренний человек", а окружающее либо дополняет его, либо, что чаще, противоречит внутреннему как чужеродное по своей природе образование.

Они пребывают много времени у себя и в себе, находя там комфорт и наслаждение, создавая и культивируя свой, часто весьма причудливый мир. Нельзя сказать, что им совсем уж безразличен внешний мир и люди, они часто также сильно зависят и ищут благорасположения людей – но очень избирательно и в соответствии с теми же внутренними предпочтениями.

Их идеализм выражается в том, что они долгое время упорно выдают свое понимание мира, явно подправленное собственным воображением, за сам мир. Конечно, в известной степени это присуще всем, однако большинство довольно быстро убеждается в иной, самостоятельной и объективной, природе окружающего, в отличие от

через углубленно интровертированных людей, самим условием душевного комфорта которых является ригидное отождествление вымысла и реальности. Ибо лишь в вымысле их значимость соответствует их ожиданиям своей незаурядности, которые у интровертов почти демиургические. Их амбиции безмерны и лишь в мире собственного воображения, тождественного у них с миром "самим по себе", они хотя бы отчасти реализуются. Эта часть человечества породила и жестоких безжалостных фанатиков, и создателей идеалистических – религиозных, философских, художественных – реальностей, и монстров, маньяков и "чудиков" – право, грани и акценты довольно-таки условны.

Разительность несоответствия близкого им, положенного их воображением дивного внутреннего мира и глубоко чуждой им внешней прозы, с самого начала отравляет им жизнь, свербит, расстраивает, но до известных пор переносится, нейтрализуется компенсирующей продуктивностью воображения. Большинство интровертов среднего возраста редко явственно и открыто обнаруживают появляющийся и прогрессирующий у них к тому времени трагизм в ощущениях бытия. Они все же в целом склонны переживать это "в тихушку", изредка изливая свои чувства в виде беспросветного пессимизма, в моменты, располагающие к интимности откровения. В отличие от экстравертов, разочаровывающихся более в социальном мире, но не в себе, потому и пытающихся, вновь и вновь, что-то доказывать этому миру, интроверту склонны во всех бедах винить более себя. Однако не потому, что исходно более критичного о себе мнения. Наоборот, они вынуждены сами же снижать свою самооценку, поскольку исходно она у них сильно завышена. Она долгое время поддерживается успешной подменой в их миропредставлениях реального мира его идеалистическим муляжом, в котором всегда находится достойное место для нарциссического интровертного "я".

Диссонанс, затем разлад между разными образами мира ведут и к трещинам, образующимся во внутренней убежденности, "естественной вере" интроверта в свою незаурядность. В силу автономности, параллельности внутреннего мира, незаурядное "я" интроверта занимает в нем одно из ключевых мест. И вот повседневность, общезначимая социальность успешно теснит мир внутренний, т. е. грубо, зримо предъявляет интроверту свои права: нахамить, поставить на полагающееся место, обмануть, оставить обделенным благами, почестями, да и вообще социально одиноким.

Социальная действительность, как тот уличный хам объявляет, что ты – пустое место и зовут тебя никто. Что ты навоображал себе – говорит о твоей никчемности, ибо завоевывать уважение, сиречь значимость, можно зная и угождая нужным людям. Ранее можно было спрятаться от негодя (уличного хама) в тиши заповедной глуши

собственного мира, участливого и ласкового к тебе, но вот, по прошествии времени, негодник становится постепенно надзирателем, а микрокосм собственной заповедной пущи, где можно было бродить и теряться, съезживается до размеров камеры-одиночки, в которой уже нет прежней внутренней бесконечной интимной значительности, а есть горечь, гнев, растерянность, отчаяние бессилия и апатия – под постоянным внешним презрительно-садистским надзором через глазок.

И это-то присутствие внешности в глубинах внутреннего и означает начало конца личностной вселенной, ее вырождение, увядание, космический кризис. Угасает нарциссическое "я", солнце этой внутренней вселенной, извне проникает чернота ничто, аннигиляции значительности.

Вследствие того мироощущение осени средневековья интроверта глобально, космично, трагично. Не он угасает физически, не его значительность истаивает в его же глазах – нет, сам мир клонится к закату и начинает распадаться, рождая великие эсхатологические настроения "Апокалипсиса", "Града Божьего", "Заката Европы", "Ссудного дня" и "Послезавтра". Собственное старение и обессиливание воспринимаются как космическое старение и скольжение мира к последней катастрофе. Все теряет свою первоизданную свежесть, хрустящую новизну, упругость и энергию, становясь сморщенным, увядшим, дряблым, бесцветным, бессильным, худосочным, пепельно-серым и распадающимся как старческая плоть. Цвета тускнеют, вкус опреснен, звуки теряют свою звонкость и гамму, страсти мелеют, обнажая дно безразличия и, наконец, приходит черед испустить свой дух и надежде. И мир уже не тот, потускнел и иссох, и люди измельчали – все испито, испробовано, израсходовано, растрчено впустую. Покидать такой мир, который спроецирован из души мазохистствующего интроверта, собственно уже и не жаль. "Господи, хотя бы скорее сдохнуть" – лейтмотив тотального самоистязания.

Описанные выше жизненный реагирования условно чистых экстравертов и интровертов встречаются в повседневности не столь часто. Все же большинство из нас представляет собой промежуточные, переходные формы, сочетающие в себе, в той или иной степени, стороны как экстравертных, так и интровертных характеров.

С одной стороны, мы настолько идеалисты, чтобы продолжать все же, хотя бы и ностальгически, любить свои исходные идеалы, цели, прежние чувства, дорожить ими и не предавать их. Они теряют, правда, свои прежние величественность, масштабность и незаурядность. Вместе с тем, с нас спадают как шелуха наши прежние одежды романтической значительности. Это как вдруг неожиданно постаревшие родители, превращающиеся из авторитетных, полных

внутреннего значения и достоинства гуру в недалеких, ограниченных, наивно-трогательных старичков или увядающие, полнеющие возлюбленные в чьих чертах с трудом находишь былое величие. Многие из нас все же не бросаются на поиски новых авторитетов или новых возлюбленных и не бросаются в омут космического декаданса, а сохраняя в целом верность исходным целям и идеалам, все же находят в себе мужество для переописания смыслов себя и окружающего.

Не надо, однако, полагать, что эта верность совсем уж бескорыстна и подвижна первородным нашим идеализмом. Суть-то ведь самого кризиса осени зрелого возраста в существенной девальвации исходных ценностей, в снижении на порядок их масштабности и значительности. В корреляции с ними меняемся и мы, пропорционально связанная с ними и наша собственная значительность.

Верность эта есть выражение душевного инстинкта самосохранения: из того, что родители стали бессильными существами, а возлюбленная поблекла – не следует, что мы сами остались прежними. Не существует закона перетекания сил и значимости из одной стороны парного взаимодействия в другую. Безжалостный Хронос вместе с разрушением красоты и значительности наших целей и идеалов проводит "удар судьбы", ставя нас в ситуацию очередного экзистенциального перепутья, где, как в русских сказках и распутьях, *заведомо* нет пути без сущностных потерь.

И на подобном перепутье душевный инстинкт самосохранения удерживает нас в верности исходному, подсказывая, что потеряв, мы уже будем не в силах найти равноценную замену. Равноценная замена невозможна уже в принципе и нет ни толики надежды на новое уверование. Это как с постулатами "практического разума" у Канта: хотя опыт и не дает нам свидетельств существования абсолютного в эмпирическом мире (в мире нет знамений), однако для успешности в делах повседневности необходимо верить, т. е. сознательно себе внушать некоторые абсолютные смыслы, основывая на них внутреннюю дисциплину. Так и получается, что мы учимся довольствоваться меньшим, зная, что большее невозможно в принципе и есть самообман. Вместе с тем, мы убеждаем себя и твердим себе, что большее все же существует в нашем меньшем.

Возникает почти оруэлловское двоемыслие и рефлексия фиксирует, с разной степенью отчетливости, эту антиномичность и балансирование, порождая причудливую гамму чувствования трагифарсовости происходящего. Стыдно за собственные неоправданные растраты, за свою слабость горьких сожалений, за униженные мольбы вернуть невозвратное. Смешно за свой новый рационализм, соглашательство, боязнь сильных, убивающих страстей,

конформизм выживания, дления себя даже в условиях утерь прежних личнообразующих качеств.

Однако, унижения и стыд, издевки и насмешки – лучшее средство для внутреннего закаливания. Человек – удивительная смесь идеализма и прагматизма, нонконформизма и оппортунизма, он способен как формировать новые реальности, так и умеет принять их, способен превратить недостатки, страдания, негативное в часть своего собственного процесса выздоровления, и даже найти во всем этом свою мазохистскую прелесть. Чуть отпустило, глядишь а он уже опять танцует и веселится. Так посмеемся же и поблагодарим за пережитое и устремимся далее – вперед, к новым распутьям русских сказок. Или как учил нас позабытый уже сегодня ревизионист: "движение – все, цель – ничто".

Январь-февраль 2006